

3

Когда два года назад мать умерла — после почти тридцати лет реальной или воображаемой инвалидности в Мемфисе, — отцу уже было за восемьдесят, а сестры были на шестом десятке. Несмотря на грусть, все, естественно, почувствовали и некоторое облегчение от того, что старушка наконец отмучилась. Отец страдал от различных недугов пожилого возраста, но, вообще говоря, оставался в форме. Как я уже говорил, мне и в голову не приходило, что у него начнутся распри с семьей, как у стариков, которых я помнил по первым дням в Мемфисе. Зато это пришло в голову моему старому другу Алексу Мерсеру — и он тоже помнил тех пожилых вдовцов. Уже на похоронах, когда мы вместе ехали в одном из лимузинов ритуальной службы — Алекс был настолько близким другом, и не только моим, но и всей семьи, что вместе с супругой поддерживал нас на протяжении всего дня, — Алекс пытался намекнуть — пожалуй, слишком завуалированно, — на возможные опасности в будущем. Он упомянул, что мистер Джордж, как он всегда называл отца, теперь может сблизиться с некоторыми своими знакомыми сильнее, чем раньше. Я не понял, что он имеет в виду знакомых женского пола, и решил, что он просто ищет утешения в дежурных фразах, что уже замечалось за ним ранее. В следующие несколько месяцев, разумеется, Алекс писал, что я должен гордиться поведением своих сестер. Он говорил, что благодаря им видит, как за последние тридцать лет человеческая

натура сделала шаг вперед (по крайней мере, в Мемфисе). Он рапортовал, что Бетси и Жозефина — а они обе уже давно переехали в собственные дома и вдобавок управляли собственным бизнесом по продаже недвижимости — утвердили свою независимость во всех возможных сторонах жизни (кроме брака), а теперь — к чести их обеих будет сказано — не показывали стремления занять какую-либо супружескую или опекунскую роль по отношению к нашему отцу. Более того, они, как я уже упоминал, практически сразу начали в шутку поддразнивать его насчет знакомых пожилых дам. Даже чуть ли не слишком рано, не преминул отметить Алекс Мерсер. Но когда Алекс мне писал — а в тот период он писал почти каждую неделю, — он пытался выставить все в лучшем свете. «Эта неделикатность с их стороны, — говорил он, — все же куда лучше, чем *альтернатива*». Под чем он, разумеется, имел в виду судьбу, постигшую стариков, которых мы оба помнили.

Алекс — профессор английского языка в Мемфисском государственном университете, и очень интересно наблюдать, как ко всему и вся, что он желает понять, он применяет воображение чуть ли не с литературным подходом. Трудно найти более непохожего на моих сестер человека, и все же в его письмах я видел, как Алекс со всевозможным сопереживанием пытается примерить их опыт на себя. Легко вообразить, писал он мне на этот счет — в своем довольно высокопарном стиле, — легко вообразить, как одна из сестер (это может быть любая) однажды звонит отцу, чтобы позвать к себе на ужин, и легко вообразить, как она узнает от прислуги или от повара («держи в уме — по телефону; что, разумеется,

только усиливает опасность оскорбления»), так вот, узнает, что отец, вдовствующий мистер Джордж, уже приглашен на ужин в этот самый вечер — скажем, в дом миссис Евы Колдуолдер или миссис Каролины Мерривезер. Легко вообразить необоснованную ревность, которая может распалиться во взрослой незамужней дочери из Мемфиса, и легко вообразить справедливую обиду этой дочери за недавно усопшую мать. В случае, если неприязнь к какой-либо конкретной вдове достигнет определенных высот (как писал мне Алекс), — будь это миссис Колдуолдер, или миссис Мерривезер, или любая другая, — для меня, сына мистера Джорджа, это обязательно должно послужить поводом для беспокойства. Поскольку, как далее указывает Алекс, неизвестно, к какой стратагеме могут прибегнуть две взрослые незамужние сестры вроде Бетси и Жозефины Карвер, дабы пресечь или умерить романтические авансы их отца.

Полагаю, могу категорически утверждать, что не только мой друг Алекс Мерсер, но и все, кто жил на восточной стороне Мемфиса и знал женщин вроде моих сестер, понимали, какими должны быть чувства Бетси и Жозефины после недавней кончины их пожилой матери. Могло произойти и что-то похуже, чем в случае с полковником Филдингом, судьей Гастоном или мистером Мэннингом.

Но, к счастью, ничего, разумеется, не произошло, по крайней мере с этими дамами. Мои сестры не проявили никакой обиды к новой роли отца. Всего через месяц — даже через какие-то недели — после смерти матери уже начали циркулировать разнообразные «забавные анекдоты», которые явно распространяли сами Бетси и Джо. То были вполне юмористические и добродушные

байки — обходительные, даже ласковые повести о том, как за мистером Джорджем «ухаживают» восьмидесятилетние и девяностолетние леди — так сказать, знатные дамы Мемфиса. Некоторые даже отряжали чернокожих шоферов в ливрее, чтобы доставить старого вдовца пред свои очи, а если во время ужина погода менялась в худшую сторону или вечер попросту затягивался, хозяйка приглашала импозантного мистера Джорджа Карвера занять на ночь надушенную лавандой гостевую комнату.

Сообщалось и о пикантных инцидентах и эпизодах: о смехе на крыльце после полуночи и даже о вскриках в саду, о том, что перед уходом мистер Джордж у зеркала в прихожей надевал шляпу поперек — возможно, слегка под мухой, причем как он, так и *дамы*, — и что из-за шляпы дамы его звали «мистером Бонапартом». Никто не знал, на что намекали эти истории, потому что никто не знает, чем вообще занимаются настолько старые люди по вечерам. Обычно об этом совестно даже думать. Но мои сестры, Бетси и Жозефина Карвер, явно наслаждались повестями о жизнелюбивых отношениях отца с пожилыми дамами. Такие истории не *могли* не быть невинными, настаивали они. Да, отец выставлялся в смехотворном и нелепом свете, но сестры не имели ничего против. В конце концов, снова заверил меня Алекс, сестры же не хотели, чтобы мистер Джордж тосковал по «мисс Минте» — так Алекс всегда называл мою мать.

К этому времени обе мои сестры прославились в Мемфисе своим метким, хотя и подчас жестоким чувством юмора. Они были известны тем, что выдумывали остроумные истории о своих друзьях и сверстниках. Мы все были знакомы с этим стилем юмора у южных дам

определенного возраста. И теперь внезапный поток подобных историй от Бетси и Джо мог бы показаться предсказуемым и вполне приемлемым, если бы мистер Джордж не приходился им обожаемым отцом и если бы они не были хорошо известны как папины дочери. Разве это был бы не тот самый вид юмора, который они так любили? По крайней мере, все, кто знал моих сестер, уже в течение многих лет приучились выслушивать подобные насмешки.

И все же ушам Алекса Мерсера насмешки над мистером Джорджем, всегда занимавшим особое место в его сердце, представлялись столь же неподобающими, сколь непредсказуемыми. Алекс оказался не готов к легкомысленному отношению к вечерам отца с пожилыми дамами, а из-за какой-то двусмысленности в историях ему становилось беспокойно при мысли о том, что в ситуацию неизбежно буду вовлечен я, их брат. Я был не только ближайшим другом Алекса, но и человеком, чей образ жизни в далеком Манхэттене временами его тревожил, а временами, как мне кажется, приносил опосредованное удовольствие. В моей свободной и независимой жизни есть некая безмятежность, какой семьянин из Мемфиса не может не позавидовать, а особенно если учесть, что я живу с женщиной практически на пятнадцать лет моложе меня и вожу дружбу с интеллектуалами, не больше моего отягощенными скучными практическими вопросами быта. Алексу казалось, я буду шокирован, если события на родине пойдут в том направлении, в котором, по его мысли, они пойдут непременно, то есть я буду шокирован, если он не подготовит меня к этой неизбежности. Сестры, разумеется, пересказывали

в письмах кое-какие из своих историй об отце. Но, возможно, в письмах невозможно прочувствовать то воздействие, что прочувствовал на себе Алекс Мерсер, слушая вживую, как сестры рассказывали свои анекдоты на званных вечерах. Ибо оскорбительными Алекс находил их манеры и тон.

В своем ответе на предостережения Алекса я сказал, что оскорбительность коренится *исключительно* в манере и тоне Бетси и Жозефины и что, возможно, это всего лишь способ моих сестер сделать историю забавной. Я сказал, что предполагаю, это получается у них само собой — ведь они всегда рассказывали подобные истории о друзьях тем же благопристойным, но в то же время двусмысленным образом. Я знал, что вся двусмысленность могла ограничиваться тем, как они закатывали глаза или воздевали выщипанные брови. (Хотя к этому времени Бетси и Жозефина уже не могли скрыть признаки возраста, они по-прежнему выщипывали брови и брили ноги, как в девятнадцать лет.) Я был не понаслышке знаком с тем, что до меня доносил Алекс. В былые дни он и я часто бывали на тех больших рождественских праздниках в Мемфисе, которые посещают и стар и млад, и там порою видели моих сестер в окружении преданной группы сверстников, кому они щекотали чувства очередным из своих невинных на первый взгляд анекдотов. Такие сценки не забываются. В какой-то момент благопристойный голос Бетси — а возможно, Жозефины (теперь их голоса стали так похожи) — дрожал и надламывался как будто нарочно, словно подчеркивая деликатность чувств дамы. Это часто слышалось в речи дам с Юга из поколения моей матери. Но тут же

в компании друзей раздавался взрыв смеха — на который дамы поколения матери (во всяком случае, в Нэшвилле) уж точно были не способны, — и каждый понимал, что всего лишь сказав одну фразу, или закатив глаза, или искусно воздев выщипанную бровь, Бетси или Жозефина превратили всю невинную историю в натуральную непристойность.

Разумеется, все это было очень добродушно. Но их истории об отце даже без закатывающихся глаз и вздетых бровей казались почти *слишком* веселыми и *слишком* добродушными. Слишком добродушными, чтобы им поверить. Почему-то Алексу и некоторым другим слушателям в кружке становилось беспокойно — беспокойно за благополучие отца. Но, несмотря на все письма Алекса, я, Филип Карвер — в своей далекой нью-йоркской квартире — не желал об этом и слушать! Все мы должны только приветствовать благодущие моих сестер, писал я Алексу. Конечно же, их шутки по этому поводу следует воспринимать как позитивную перемену. Конечно же, ее нельзя было предвидеть. Подумать только, писал я, там, в Мемфисе, стало возможным, что дети средних лет — да еще две любящие незамужние дочери — ведут себя так снисходительно и великодушно по отношению к овдовевшему старому отцу, — который, как известно, обладает немалым состоянием. Ведь вполне очевидно, что эти дочери не намерены сослать мистера Джорджа Карвера в какой-нибудь «особняк на плантации» в дельте Миссисипи или в хорошо охраняемую «частную больницу» в Восточном Мемфисе.

Если и бывали моменты, когда я сомневался в искренности своих сестер в текущих обстоятельствах, то,

думаю, только потому, что *любому* было бы тяжело поверить, что существуют такие мемфисские женщины — существуют у всех на виду, — которые умеют мириться с теми переменами и поворотами в жизни старика отца, что весьма возмутили бы таких же женщин в прошлом поколении. Алексу Мерсеру в этот период казалось, что наступило, без преувеличения, новое тысячелетие. «Возможно ли, — выразился Алекс в письме на свой риторический, академический манер, — что за два прошедших десятилетия, пока мир учился признавать права молодежи, права женщин и права цветных рас, он научился уважать и права стариков — по крайней мере, право старого вдовца жить своей жизнью, как он сам того пожелает?» Лично мне, в Нью-Йорке, самым славным и непостижимым в этой ситуации казалось не то, что это могло случиться в мире в принципе, но то, что это могло случиться в мелком старинном мирке Мемфиса.

Должен сказать, что, несмотря на всю естественную привязанность, которую я испытывал к моим сестрам, и несмотря на всю мою благодарность за их помощь в моем окончательном отъезде из Мемфиса, когда мне еще не было тридцати, и несмотря на благодарность за то, что они пытались помочь мне еще раньше, когда я хотел жениться на девушке, в которую был влюблен в Чаттануге (и больше я никого так не любил), все же каждый раз, когда я возвращался домой, особенно в последние годы, я боялся их вида — то есть первого взгляда — и еще больше боялся моего первого разговора с ними после приезда.

Я уже упоминал об их независимой жизни. Более того, свой необычный тип независимости они на протяжении

многих лет как будто ценили превыше всего на свете. А перед отцом отчего-то испытывали необходимость утверждать эту независимость все энергичнее с каждым годом. Хотя они уступили ему, когда не вышли за своих возлюбленных в молодости, в последующие годы они чувствовали себя вправе не уступать более ни в чем. Во время переезда в Мемфис обе девушки поверили, что их согласие, их послушание, их моральная поддержка — самое важное в жизни отца. И они согласились, послушались, поддержали — и не вышли замуж. Но когда семейный кризис наконец миновал, они стали известны как две самые независимые молодые дамы во всем Мемфисе и прослыли, если верить Алексу Мерсеру, «этими ужасными девчонками из Нэшвилла», а в итоге и «самыми большими безобразницами, что проникали в ряды мемфисской Младшей лиги».

Хотя, по моему твердому убеждению, ни одна из сестер по сей день не спала с мужчиной (и я полагаю, что у меня есть веские доказательства), практически с самого переезда в Мемфис они, казалось, были полны решимости создать впечатление — как в разговоре, так и в поступках, — что это был их едва ли не еженощный ритуал. Мои самые первые воспоминания о сестрах, разумеется, — нэшвиллские, когда они казались нежными, благовоспитанными, кроткими — южанками. Такими их наверняка запомнил весь Нэшвилл. Но в Мемфисе почти с самого начала они стали известны как две молодые леди, которые живут независимо, что обычно могут позволить себе только молодые джентльмены. Они очень рано — и вопреки протестам отца — занялись бизнесом по продаже недвижимости. Они играли в гольф и теннис,

плавали и без труда могли одолеть мужчин, которые решались бросить им вызов в этих видах спорта. Они вообще не стали мужеподобными во внешности, манерах или поведении, но ясно давали понять, что не уступят ни одному представителю сильного пола. Скоро они учредили собственную фирму по продаже недвижимости — вместо того, чтобы и дальше работать в подчинении у мужчин-«риелторов» (этот термин тогда только входил в обиход, и отец его высмеивал как «мемфисский вулгаризм»). А затем, даже не спросившись у отца, они купили собственные дома всего в нескольких кварталах от места, где тогда жили родители, и зажили обособленно.

Эти домовладения — удобные двухэтажные коттеджи с полотняными маркизами над всеми окнами, выходящими на веранды, — сослужили службу и нам с братом Джорджем, когда мы сами пытались достичь хоть какой-то независимости. Джордж одно время работал в юридической конторе отца, но не нашел там счастья и притворился, что его призвали в армию, — хотя на самом деле ушел добровольцем, — и попал на войну. Сестры помогли обмануть отца и позволили осуществить план — отправиться в Европу и там погибнуть, — что на тот момент, полагаю, и было его главной целью в жизни.

Но хоть Бетси и Жозефина и были всегда готовы способствовать мне с Джорджем в утверждении независимости любого рода, они никогда не забывали и о почтительном отношении к отцу. Их любовь и уважение казались безграничными. Полагаю, иначе бы они ни за что не подчинились его воле в ситуации с Уайантом Броули и Кларксоном Мэннингом. Для отца у них находились добрые слова во всякой сфере его жизни.

Они бы вам рассказали, что у него самый безупречный вкус в одежде во всем Мемфисе, и всегда отмечали его наряды — от шнурков до галстуков. Они бы вам рассказали, что у него всегда самые здравые суждения о политике, самое острое чутье в бизнесе и, разумеется, самое глубокое понимание права. Алекс Мерсер часто писал, что видел их вместе с отцом. Алекс превозносил сестер за их внимание к старику. Конечно, он и сам всегда был большим почитателем моего отца и не упускал случая покритиковать меня за то, что после войны я уехал в Нью-Йорк и оставил старика без сына, на которого можно положиться. Раньше в письмах Алекс убеждал меня получить научную степень, вернуться и преподавать, как он, в одном из городских высших учебных заведений. Разумеется, идея эта была нелепой, но иногда наводила на размышления, как могла бы сложиться жизнь, если бы я остался дома, как Алекс Мерсер, на какой-нибудь академической синекуре и жил бы, как живет Алекс со своей женой Фрэнсис и пятью или шестью детьми (никогда не мог запомнить, сколько их) рядом с Юго-Западным колледжем или вблизи Мемфисского университета, в одном из тех мемфисских бунгало с черепичными крышами на окраине, но не внутри — мемфисского мирка, знакомого нам с Алексом с молодости. Этот район в каком-то смысле еще более удален от образа жизни отца и сестер, чем моя жизнь с Холли в квартире на 82-й улице в Манхэттене. Во всяком случае, в письмах Алекс рассказывал, что едва ли можно зайти в контору отца, не встретив там одну из моих сестер — либо рядом с ним за столом во время консультации насчет какого-нибудь контракта по недвижимости, либо

просто проводящей время в его приемной, порой сидя (о ком бы из них ни шла речь), откинув голову, закрыв глаза и, возможно, вытянув скрещенные ноги на густом ворсе ковра, а порой — даже с сигаретой в зубах. Еще Алекс рассказывал, как видел обеих сестер с отцом или на воскресном обеде в клубе «Теннесси» либо в одном из ресторанов в центре, или на воскресном ужине в кантри-клубе. Алекс даже открыто говорил, что, по его мнению, так сестры пытаются компенсировать отцу отсутствие сына. И все же я уверен, что в этой последней гипотезе Алекс глубоко ошибается. Каким бы ни был мотив моих сестер, речь явно не об этом.

Мне уже задолго до того стало предельно ясно, что ни Бетси, ни Жозефина, разумеется, никогда не выйдут замуж. И все же их невероятно инфантильные разговоры о возможности замужества — в возрасте пятидесяти лет и старше — продолжались вплоть до того времени, о котором я рассказываю. Думаю, сложно не назвать это болтовней. Когда бы я ни наносил краткий визит домой (все мои визиты были настолько краткими, насколько только позволяли приличия), каждая сестра рассказывала, с кем «встречалась» вторая. Ничего не изменилось и когда им обоим исполнилось по пятьдесят лет — к тому времени они руководили собственным крупным и успешным бизнесом по продаже недвижимости. Иногда они выражались иначе. Одна говорила, что у второй «интрижка». Почти казалось, что они, как дети, не знают смысла слов и оборотов, которые используют. (Подобные впечатления и поддерживали мое убеждение, что в реальности они все еще девственницы.) Или в других случаях одна из них нередко встречала меня у самолета

в обществе какого-нибудь приятного и хорошо одетого мужчины лет пятидесяти — часто довольно женственно-го вида. Позже, когда его уже с нами не было и мы оставались наедине в машине или оказывались в родительском доме, где я всегда останавливался на ночлег, у меня спрашивали мнение о мужчине, с которым я только что познакомился. «Каким он тебе показался, Фил?» — могли спросить меня. Или еще откровеннее: «Что думаешь о *таком* зяте?» Иногда я подыгрывал и отвечал на вопросы, будто в них был смысл и существовала реальная возможность брака. Иногда я даже делился нелестным впечатлением. Тогда сестры лукаво смеялись и поддразнивали примерно так: «Ты просто ревнуешь, братец. Он *такой* красавчик!» Но если я уставал после перелета, я мог просто улыбнуться и сказать, что знаю: она — о ком бы из сестер ни шла речь — на самом деле не думает выходить замуж за этого человека. И в ответ слышал что-нибудь в духе: «Мы еще тебя удивим, дорогой Фил». Но если бы меня кто-нибудь спросил, я бы твердо ответил, что уже не удивят. И, разумеется, был прав.

Подобные речи о кавалерах не всегда оставались приватными — ни в коем случае. Разговоры со мной были лишь эхом или иногда, возможно, репетицией разговоров в присутствии отца — специально для него. Когда семья собиралась за столом, одна из сестер начинала поддразнивать другую по поводу какого-нибудь так называемого ухажера. Все происходило в добродушном настроении и воспринималось соответственно. Мать — к этому времени почти восьмидесятилетняя, но сохранявшая самообладание, если вообще прислушивалась к этим семейным играм, — объявляла, что дошла до точки, когда

удовольствуется любым подобием зятя, и преподносила это в качестве шутки — довольно грубой для *нее*. Она имела в виду — в духе веселья, конечно же (все это было частью их общей игры), — что не только давно перестала привередничать в отношении потенциальных женихов, но и даже готова — если так захотят дочери — смириться с каким-нибудь нетрадиционным решением, как у меня с Холли Каплан. Отец притворялся, что шокирован тем, как мать неосторожно поощряет незамужних стареющих дочек найти хоть какую-то пару. Он притворялся, будто получает удовольствие от игры, но было не трудно заметить, что ему неловко. И все же за компанию отец начинал с самым строгим видом рассуждать об очередном престарелом холостяке, вдовце или разведенном мужчине и выносил вердикт, что его намерения честны. Он, разумеется, не хуже матери и меня знал, что для Бетси или Жозефины не существует никакой реальной возможности брака или любого другого альянса.

Эти разговоры — или пародии на разговоры — происходили, когда я бывал дома в один из своих регулярных визитов. Думаю, из-за этого нелепого пустословия стареющих сестер и престарелых родителей я и боялся возвращаться домой. Как будто вся семья окончательно впала в деменцию и не знала, насколько бесповоротно и безвозвратно мимо нас прошла жизнь. Или иногда мне казалось, что это я выжил из ума или что мне все это просто снится — что я путаю прошлое и настоящее, как часто бывает в снах. Но через несколько дней пребывания дома я к этому привыкал. Впрочем, я все еще задавался вопросом, как им год за годом не надоедает эта игра.

В первые годы жизни в Нью-Йорке я иногда чувствовал угрызения совести из-за тягот, которые претерпевали Бетси и Жозефина в сравнении с моей жизнью. Возвращаясь домой, я упоминал им о своих чувствах, но они только смеялись и говорили, что я не представляю, насколько они свободны. Но я знал правду. Я видел их фарс насквозь. Я знал об ограничениях, которые они наложили на себя до конца жизни *сами*. И я говорил, что, возможно, еще сменю карьеру и приеду жить сюда, чтобы разделить с ними некоторые обязанности по уходу за старыми родителями. Говорил, что знаю, как часто их вызывают по ночам, как часто им приходится вставать и ехать через город, когда у матери случается очередное расстройство нервов, а у отца — припадок невропатии. Но в ответ они только качали головой и отмахивались. Они не желали слышать о том, чтобы я бросил карьеру в Нью-Йорке. Там мое место. Там я должен работать. В конце концов, это я мужчина в семье, говорили они, будто сами не занимались мужской работой в своей фирме по страхованию и недвижимости. И в конце концов, это же они, старшие сестры, и послали меня в мир, верно? Это они проследили, чтобы я выбрался из нашего домашнего окружения. Это с деньгами Жозефины и из дома Бетси я отправился в Нью-Йорк. Это одна из главных радостей их жизни, говорили они, и тогда я смотрел на них, видел, как они постарели, и вновь напоминал себе о том, насколько обязан им своей спокойной и достойной жизнью.

В другие, давние времена Бетси и Жозефину, разумеется, называли бы старыми девами. И они бы обязательно

жили в одном доме с родителями, одевались и вели себя так, как подобает женщинам заметно старше замужних ровесниц — так раньше проявлялось особое почтение к целомудренным дамам. Собственно говоря, они действительно одевались и вели себя не так, как их замужние сверстницы. Но и не так, как было принято в другую эпоху. К тому времени, когда сестры достигли пятидесятилетнего возраста, их наряды превратились в нечто диаметрально противоположное. Собственно говоря, уже с сорока пяти лет они одевались скорее как молодые девушки, чем как замужние сверстницы — из которых многие уже, разумеется, были бабушками с подрастающими внуками.

В эти дни сестры еще не растеряли запасы энергии. Вдобавок к управлению собственной компанией они вели почти неистовую социальную жизнь. Об этом я на протяжении всех лет получал отчеты от Алекса. Хотя и сами Бетси и Жозефина, когда я приезжал домой, вечно хвастались посещениями не только дамских званых завтраков и деловых бранчей в центре города, но и балов дебютанток и Карнавала хлопка — приемов для дочерей и внучек их друзей, — а также поздними визитами в некоторые ночные заведения, куда они наведывались со знакомыми мужчинами. Согласно Алексу, их неутомимая активность считалась одним из семи чудес мемфисского света. Он отмечал, что с годами они сменили статус «этих ужасных девчонок из Нэшвилла» и стали отдельной мемфисской достопримечательностью. Но прежде всего — или вопреки всему — по меньшей мере в одном отношении они, согласно письмам Алекса Мерсера, стали посмешищем города. И это часто

коробило меня по прилете или вылете из аэропорта. Ужасно было то, что при своих далеко немолодых фигурах они часто одевались по самой экстравагантной моде, которая, какой год ни возьми, могла подойти разве что очень юным, стройным и дерзким особам, а сестры выбирали, пожалуй, самые провокационные наряды. Если, например, в вечерних туалетах предпочтение отдавалось низким вырезам, их спины оголялись до самого начала внушительных ягодиц. А если в моду входили глубокие декольте, то их декольте проваливались между гороподобными грудями практически до пупа. Если все начинали носить юбки с разрезом, то сестры кромсали их куда выше коленей, обнажая мясистые ляжки, которые к тому времени достигли весьма солидного размера. Когда бы я ни приезжал домой, я всякий раз имел возможность воочию убедиться, что Алекс рассказывал правду. Иногда, перед тем как отправиться на вечер, они приходили к отцу, чтобы попросить нас оценить их нелепые наряды. Если мы, шокированные, теряли дар речи, они заливисто хохотали. Иногда мне казалось, что выход моих сестер — такая же шутка для них самих, как и для всех остальных. Были они посмешищем или нет, но мне редко удавалось улыбнуться даже при виде их гротескных костюмов или ужасного несоответствия их фигур попыткам принять соблазнительные позы. Потому что я всегда видел в них хотя бы напоминание о красивых старших сестрах моего детства в Нэшвилле.

В аэропорту меня всегда встречала или провожала одна из них. Нередко это происходило в дневные часы, и тогда я не обращал внимания на их наряды — деловые будничные костюмы не отражали погони за молодежной

модой. Но если час, когда садился или взлетал самолет, близился к коктейльному или еще позже, одна из сестер — а то и обе — обязательно являлись на высоких каблуках и с идеальной прической (Жозефина всегда красилась в черный цвет, а Бетси следила, чтобы ее волосы были того же медового оттенка, что и в юности), разодетые и увешанные драгоценностями, так что я часто ловил себя на том, как переминаюсь с ноги на ногу, пока мы в окружении мемфисских зевак ожидали багажа или стояли в очереди перед посадкой на самолет в Ла-Гвардию.

После каждого таких мемфисских проводов было особенно приятно и утешительно видеть Холли Каплан, добравшись из Ла-Гвардии на 82-ю улицу. Ее чувственные каштановые волосы, коротко подстриженные и чуть тронутые сединой (особенно прямая челка), ее туфли на плоской подошве, белая блузка с короткими рукавами, темная юбка и простые наручные часы в качестве единственного украшения — все это говорило мне о Мемфисе то же, что сказал Манхэттен в первый же день, когда я сюда приехал: жизнь не *обязана* быть такой, как в Мемфисе.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

